

Л. Апулей

АПОЛОГИЯ

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Л11

Л11 **Л. Апулей**
Апология / Л. Апулей – М.: Книга по Требованию, 2021. – 98 с.

ISBN 978-5-4241-3273-5

«Апология» Апулея свидетельствуют о хорошем знании риторики, об остроумии, ловкости и искусном владении языком. Композиция «Апологии» как речи, действительно произнесенной в суде, достаточно ясна и прозрачна, хотя несколько отклоняется от традиционной схемы. Конечно, едва ли можно думать, что она была произнесена именно в той стройной, полностью обработанной форме, в какой она была выпущена в свет, однако она написана в общем довольно простым языком, мысли, выраженные в ней, не замаскированы излишне изощренной формой и одна тема четко отделена от другой

ISBN 978-5-4241-3273-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Л. Апулей, 2021

Апулей
Апология, или Речь в защиту
себя самого от обвинения в
магии

1. Я право же был уверен и считал несомненным, Максим Клавдий¹ и члены совета², что Сициний Эмилиан³, старик, известный своим безрассудством, за недостатком действительных улик наполнит одной только бранью свое обвинение против меня, с которым он выступил перед тобою прежде, чем сам его хорошенько обдумал. Разумеется, обвинить можно и невинного, но уличить – только виновного. Полагаясь в особенности уже на одно это, я рад, кланусь богом, что мне представились удобный случай и возможность перед таким судьей, как ты, доказать незапятнанность философии людям, в ней не сведущим, и добиться собственного оправдания, хотя эти лживые обвинения и были на первый взгляд весьма серьезны, а их неожиданность еще осложнила защиту. Ведь, как вы помните, прошло лишь четыре или пять дней с того момента, как я, ни о чем не подозревая, явился в суд для ведения дела моей жены Пудентиллы против Граниев⁴ – и тут-то адвокаты Эмилиана с бранью набросились на меня и принялись обвинять в преступных занятиях магией⁵, а под конец – в убийстве моего пасынка Понтиана. Понимая, что их цель – не столько разбор дела в суде, сколько личные нападки и скандал, я и сам потребовал от них возбудить против меня обвинение и неоднократно повторил это требование. Вот тогда-то Эмилиан, видя, что и ты сильно возмущен и что приходится от слов перейти к делу, потерял свою самоуверенность и стал искать какого-нибудь способа скрыть свое безрассудство.

2. Так вот, как только он обнаружил, что вынужден письменно подтвердить обвинение⁶, он тут же забыл о сыне своего брата Понтиане, убитом, как вопил он незадолго до этого, мною. Он вдруг перестал говорить о смерти юного родственника. А чтобы не подумали, что он вовсе отказывается подписать такое серьезное обвинение, Эмилиан выбрал, как основу для него, одну только клеветническую жалобу на занятия магией: кричать об этом легко, но доказать – значительно труднее. Да и того он не осмеливается сделать открыто, а на следующий день подает жалобу от имени моего пасынка Сициния Пудента, совсем еще мальчика, и прибавляет, что берет на себя защиту его интересов в суде. Новый прием – наносить удар чужой рукой (для того, разумеется, чтобы, прикрываясь юностью Сициния Пудента⁷, не понести наказания за клевету). Когда ты, Максим, с необычайной пронизательностью подметил это и потому вновь приказал ему поддерживать внесенное обвинение от собственного имени, то даже таким образом не удалось принудить его действовать лично, хотя он это и обещал. А теперь, уже вопреки твоему приказанию, он исподтишка настойчиво пускает в ход клевету. Итак, упорно избегая опасной роли обвинителя, он крепко держится за безобидную роль адвоката. Поэтому еще до начала процесса всякому легко было понять, что это будет за обвинение, если человек, который сам состряпал его и внес, боится выступить с ним – и в особенности, если этим человеком оказывается Сициний Эмилиан. Ведь если бы он действительно разузнал обо мне что-либо, то уж, конечно, не стал бы так медлить с привлечением к суду чужеземца, виновного в столь многочисленных и столь ужасных преступлениях; этот Сициний Эмилиан, который, зная, что завещание, оставленное его дядей, подлинно, распустил клеветнические слухи, будто оно подложно. Он действовал с необыкновенным упорством, и когда знаменитый Лоллий Урбик, опираясь на постановление совета консуляров, объявил, что документ производит впечатление подлинного и должен считаться подлинным, этот полоумный, вопреки со-

вершено ясному решению, все же клятвенно утверждал, что завещание фальшиво, и в конце концов Лоллий Урбик едва не отдал распоряжения о суровом наказании Эмилиана ⁸.

3. Рассчитывая на твою справедливость и на свою невиновность, я надеюсь, что подобное же решение само собой возникнет в результате нашего дела, так как Эмилиан с тем большей, разумеется, легкостью клеветает на невиновного, что был уже раз, как я сказал, уличен во лжи у городского префекта в ходе весьма важного процесса. Ведь подобно тому, как всякий порядочный человек, раз провинившись, становится впоследствии особенно осмотрительным и осторожным, так человек дурной от природы еще более нагло принимается за прежнее, и уж во всяком случае, чем чаще он совершает преступления, тем более открыто это делает. Стыд и честь – как платье: чем больше потрепаны, тем беспечнее к ним относишься. И поэтому, в интересах моей ничем незапятнанной чести, я считаю необходимым опровергнуть всякую хулу, прежде чем приступать к делу. Да, потому что я берусь защищать не только самого себя, но и философию, по отношению к величю которой даже малейшее порицание является величайшим преступлением, а между тем, адвокаты Эмилиана, наболтав только что немало всяких лживых небылиц по моему адресу, обратили поток своего наемного краснбайства против философов вообще, как обычно делают невежды. Можно, конечно, предполагать, что они не без пользы для себя, небескорыстно несли всю эту чушь, что она уже была оплачена задатком за бесстыдство; ведь этим сутягам присущ именно такой дар красноречия, при помощи которого они суют обычно свои ядовитые языки в чужие раны; тем не менее я должен, хотя бы даже собственного спокойствия ради, опровергнуть вкратце этот вздор. Иначе может показаться, будто я, который всегда прилагал все усилия, чтобы отвести от себя малейшее пятнышко, малейшее подозрение в бесчестии, обхожу молчанием эти вздорные нападки скорее по неумению ответить, чем из презрения. На мой взгляд огорчаться даже из-за лживых наветов – свойство скромного и застенчивого человека. Действительно, даже те, кто знают за собой какой-либо проступок, все же сильно волнуются и сердятся, если услышат о себе что-нибудь дурное, хотя, коль скоро уж они взялись за дурные дела, они должны бы привыкнуть слышать о себе дурные отзывы: ведь если другие и хранят молчанье, то сами они все-таки сознают, что заслуженно могут подвергнуться упрекам. Тем более – всякий порядочный и невиновный человек, ушам которого неведома хула и который привык к похвалам, а не к порицаниям: он глубоко страдает, если о нем незаслуженно говорят такие вещи, в которых он сам по справедливости мог бы обвинить других. Поэтому, если будет казаться, что я в своей защитительной речи говорю о вещах весьма незначительных и даже вовсе не заслуживающих никакого внимания, то нужно укорять в этом тех, кто не гнушается даже такими мерзкими нападками, а не ставить это в вину мне, потому что отразить даже такие нападки будет для меня делом чести.

4. Итак, ты выслушал только что начало обвинительного акта, где было сказано следующее: «Мы обвиняем перед тобой философа красивой наружности и – вот ведь грех! – столь же красноречиво изъясняющегося по-гречески, как и по-латыни». Этими самыми словами, если не ошибаюсь, начал свое обвинение против меня Танноний Пудент ⁹, – вот уж он человек, право же, ни в какой мере не красноречивый. Ах, если бы он, действительно, имел основание обвинять

меня в таких тяжелых преступлениях, как красота и дар слова! Ни минуты не задумываясь, я ответил бы ему то же, что гомеровский Александр Гектору:

Нет, не презрен ни один из прекрасных даров нам бессмертных;

*Их они сами дают: произвольно никто не получит.*¹⁰

[Никоим образом не следует презирать славные дары богов; ведь этими дарами наделяют обычно сами боги, и многим из тех, кто желал бы их, они не достаются]. Так ответил бы я относительно внешности. А кроме того, сказал бы, что и философам дозволено иметь привлекательную наружность. Пифагор, который первый назвал себя философом, был самым красивым человеком своего времени; точно так же знаменитый Зенон Древний, родом из Велии, который прежде всех с искуснейшим мастерством стал вскрывать внутренние противоречия различных высказываний¹¹, также и этот Зенон был необычайно красив, как утверждает Платон; и вообще история знает немало красивых философов, которые изящную внешность украсили добродетельными нравами. Но эта защита не имеет ко мне почти никакого отношения, так как, не говоря уже о моей заурядной внешности, непрерывные занятия науками стирают с меня всякую привлекательность, портят наружность, высасывают соки, лишают хорошего цвета лица, отнимают жизненные силы. Да и волосы, которые, по явно лживым словам вот этих господ, я отпустил как украшение, в целях соблазна, ты видишь, как восхитительно красивы эти волосы, вставшие дыбом и нерасчесанные, похожие на набивку из пакли, местами взъерошенные, спутанные, всклокоченные, одним словом – в полном беспорядке: так долго я вовсе не заботился не то что о красивой прическе, но даже о том, чтобы распутать и расчесать свои волосы. Этим, по-моему, достаточно опровергнуто «волосяное» обвинение, выдвигая которое они надеются уличить меня чуть ли не в уголовном преступлении.

5. А что до красноречия, то, даже если бы я им и обладал, разве можно было бы удивляться или завидовать мне, коль скоро с молодых лет я всеми силами предавался занятиям наукой, отвергая все другие удовольствия, и вплоть до сего времени в большей степени, пожалуй, чем любой другой из людей, стремился овладеть красноречием, напряженно трудясь день и ночь и с полным пренебрежением относясь к собственному здоровью. Но пусть ни в какой мере не опасаются моего красноречия: я больше надеюсь на него, чем владею им, если только вообще сколько-нибудь преуспел в этом деле. Но, несомненно, если правда, что невиновность и красноречие – одно и то же (а так, говорят, писал в своих стихотворениях Стаций Цецилий¹²), то на этом основании я прямо и открыто заявляю, что никому в красноречии не уступлю. Кто же, действительно, окажется в этом случае красноречивее меня, раз я никогда не размышлял ни о чем таком, чего не решился бы сказать во всеуслышание? Я утверждаю в то же время, что я превосхождный оратор потому, что всякий проступок всегда считал таким делом, о котором говорить не подобает¹³. Я в то же время самый красноречивый человек оттого, что нет за мной ни одного поступка или высказывания, о котором я не мог бы рассуждать публично. Вот и теперь я поговорю о своих стихах, которые они выдают за нечто порочащее меня. Ты, конечно, заметил¹⁴, что сам я одновременно и смеялся, и возмущался, слушая, как неблагозвучно и неумело декламируют они¹⁵ стихи.

6. Итак, прежде всего они выбрали из моих шуток маленькое послание в стихах о зубном порошке к некоему Кальпурниану, который использовал это

письмо мне во вред, но, охваченный желанием напакостить, не видел, конечно, что, если на основании этих стихов возникнет какое-нибудь обвинение против меня, то оно будет направлено и против него самого. Действительно, как свидетельствуют стихи, он просил у меня чего-нибудь для чистки зубов:

Пускай стихи мои привет тебе несут,
Кальпурниан. Ты порошок зубной просил –
Прими ж его. Из аравийских он плодов,
Он тонок, превосходен, белизну дает,
Десна распухнет – мигом ее вылечит
И так все крошки подметет вчерашние,
Что если смех случайный зубы обнажит,
Никто на них не разглядит ни пятнышка.

Я спрашиваю, что позорного в содержании или в словах этих стихов, что вообще в них такого, что философу нежелательно было бы считать своим) Разве только в том меня следует упрекнуть, что я послал Кальпурниану порошок из аравийских плодов, тогда как ему гораздо больше подходило бы, в соответствии с мерзейшим обычаем иберийцев, собственной мочой, как говорит Катулл¹⁶ «чистить зубы и красные десны».

7. Я только что видел, как некоторые едва сдерживали смех, когда тот оратор сурово осуждал – извольте видеть – чистоту рта и с таким возмущением произносил слова «зубной порошок», с каким и о яде-то никто не говорит. А что же?! Философ, конечно, не может презрительно отмахнуться от обвинения, будто он непримирим ко всякой нечистоплотности в самом себе, не допускает, чтобы какая-нибудь открытая часть его тела оказалась неопрятной и зловонной! В особенности – рот, которым человек чрезвычайно часто пользуется открыто и на виду у всех: или он целует кого-нибудь, или беседует с кем-нибудь, или рассуждает в присутствии слушателей, или молится в храме – ведь всякому поступку человека предшествует слово, которое, как говорит замечательный поэт, выходит «из-за ограда зубов»¹⁷. Взять теперь какого-нибудь высокопарного оратора – он на свой лад скажет, что человек, если он хоть сколько-нибудь думает о своей речи, должен в первую очередь, больше, чем об остальных частях тела, позаботиться о рте, который служит преддверием духа, вратами речи, собранием мыслей. А я, пожалуй, сказал бы так: нет ничего более противоречащего облику человека свободного и благородного, чем неопрятный рот. Ведь этот орган расположен высоко, виден хорошо, его функция – речь. У диких же зверей и домашнего скота рот расположен низко и наклонен к ногам, поближе к следу и корму; его почти никогда не видно, разве только у мертвых или взбешенных и готовых укусить животных. Напротив, у человека, когда он молчит, а еще чаще – когда говорит, ничего, пожалуй, не заметишь прежде, чем рот.

8. Так вот, мне хотелось бы, чтобы мой суровый критик Эмилиан ответил, имеет ли он сам обыкновение мыть хоть изредка ноги. Если он этого не отрицает, то пусть открыто заявит, что больше нужно заботиться об опрятности ног, чем зубов. Но, разумеется, если кто-нибудь подобно тебе, Эмилиан, почти никогда не открывает рта ни для чего иного, как для злословия и клеветы, то я советую ему вовсе не заботиться об очищении рта, не чистить иноземным порошком зубы (пусть трет их углем из костра – так будет вернее) и даже не полоскать их обыкновенной водой. Пусть его вредный язык, орудие злобной лжи, остается

постоянно погруженным в собственную грязь и зловоние. На самом деле, будь ты неладен! какой тут смысл: обладать языком чистым и прекрасным, речь же, напротив, грязной и отвратительной, по-змеиному испускать из белоснежного зуба черный губительный яд? Напротив, если бы кто-нибудь решил произнести речь бесполезную и не лишенную приятности, то, естественно, предварительно прополоскал бы свой рот, как кубок для хорошего напитка. Но зачем мне дольше рассуждать о человеческом роде? Лютое чудовище, пресловутый крокодил, который рождается в Ниле, и он также, насколько мне известно, охотно позволяет очищать свои зубы, разевая безвредную в тот момент пасть. Рот у него огромный, но лишен языка и по большей части находится в воде, поэтому между зубами застревает множество пиявок. Когда же он выйдет на берег реки и разинет пасть, то одна из речных птиц, дружески расположенная к нему птичка, запускает ему в зубы клюв и вытаскивает пиявок, не подвергая себя ни малейшей опасности.

9. Но оставим это. Перехожу к остальным стихотворениям. Хоть они и называют их «любовными», тем не менее прочитали их так грубо и по-деревенски, что слушать было противно. Но при чем же тут преступные занятия магией, если я в стихотворении восхваляю сыновей своего друга Скрибона Лета? Или я потому волшебник, что поэт? Кто слышал когда-нибудь хоть краем уха столь правдоподобное подозрение, столь удачное предположение, столь явный довод? «Написал стихи Апулей». Если плохие, это, конечно, проступок, однако не философа, а поэта. А если хорошие – в чем же ты обвиняешь? «Но ведь он написал стихи шуточные и любовные». Так разве в этом состоит мое преступление, и вы ошибаетесь в названии его, привлекая меня к суду за занятия магией? Но ведь и другие делали то же самое, хоть вам это и неизвестно: у греков некий уроженец Теоса¹⁸ и спартанец¹⁹ и кеосец²⁰ вместе с бесчисленным множеством других, и даже женщина лесбиянка²¹, причем эта последняя – игриво и с таким изяществом, что прелесть ее песен примиряет нас с чрезмерной вольностью ее языка. У нас – Эдитуй, Порций, Катул²², и они также – вместе с бесчисленным множеством других. «Но они не были философами». Ну, что ж, неужели ты будешь отрицать, что серьезным человеком и философом был Солон, которому принадлежит этот в высшей степени игривый стих:

К бедрам и сладким устам ты вожделения полн²³.

Найдется ли хоть что-нибудь столь легкомысленное во всех моих стихах, если их сопоставить с одним только этим? Я уж молчу о подобного рода писаниях у киника Диогена и Зенона, основателя стоической школы, они тоже чрезвычайно многочисленны. Прочту-ка я свои стихи еще раз, чтобы знали, что мне за них несколько не стыдно:

Критий – утеха моя, но лишь частью любви он владеет.

Часть остается еще – ты ей владеешь, Харин.

Пусть иссушают меня два огня – не надо бояться:

Пламя двойное свое вытерплю я до конца.

Пусть буду так же вам дорог, как вы себе дороги сами,

Вы же – так дороги мне, как человеку глаза.

Теперь я продекламирую и другие стихи²⁴, которые они прочитали под конец, как якобы крайне разнузданные:

Песни дарю я тебе и гирлянды цветов, мой любимый.

Песни ты сам принимай, гений твой²⁵ примет цветы.
В песнях хочу я воспеть тот сладостный день, за которым
Дважды седьмая весна, Критий, приходит к тебе.
Эти гирлянды дарю, чтобы виски твои зелень покрывла²⁶:
Пусть украшают цветы юности нежный расцвет.
Мне же за этот весенний цветок дай весну свою, милый,
Щедрым подарком своим скромный мой дар превзойди.
Сплел я гирлянды цветов – сплетись в объятьях со мною,
Розы тебе я даю – дай мне бутон своих губ.
Но уступили б и песни мои твоей сладкой свирели,
Если бы в кипрский тростник жизнь ты вдохнуть захотел.

10. Вот тебе, Максим, мое преступление, составленное из одних гирлянд и песен. Ну прямо – закоренелый прожигатель жизни, не так ли? Ты обратил внимание, как меня порицали здесь даже за то, что, хоть у мальчиков другие имена, я назвал их Харинном и Критием? Да, но ведь в таком случае можно было бы обвинить и Гая Катуллу²⁷, за то, что он Клодию назвал Лесбией, и точно так же – Тицида²⁸, за то, что он написал имя Периллы вместо Метеллы, и Проперция, который называет Цинтию, прикрывая этим именем Гостию, и Тибулла, за то, что в мыслях у него была Плания, а в стихах – Делия. А вот Гая Луцилия²⁹, хоть он и сатирик, я, пожалуй, осудил бы за то, что в своем стихотворении он выставил на позор мальчиков Гентия и Македона, назвав их настоящие имена. Насколько, в конце концов, более скромен мантуанский поэт, который, так же как и я, восхваляя в шуточной буколке³⁰ сына своего друга Поллиона³¹, имен не упоминает и зовет себя – Коридоном, а мальчика – Алексидом. Однако Эмилиан – человек, более грубый, чем вергилиевы овчары и волопасы, деревенщина и дикарь, но, по собственному мнению, гораздо более возвышенных нравов, чем Серраны³², Курии³³ и Фабриции³⁴, – считает, что такие стихотворения не подобают философу-платонику. Даже в том случае, Эмилиан, если я докажу, что они написаны по примеру самого Платона? Из его стихов сохранились только любовные элегии: все остальные песни он сжег на огне, потому, я уверен, что они оказались менее изысканными. Так вот, познакомься со стихами философа Платона к мальчику Астеру, если только такому старику, как ты, не поздно начинать знакомство с литературой:

*Прежде звездю восточной светил ты, Астер мой, живущим,
Мертвым ты, мертвый теперь, светишь вечерней звездой³⁵.*

А вот, что пишет тот же Платон двум мальчикам, Алексиду и Федру, обращаясь к обоим с одним стихотворением:

Стоило мне лишь сказать, что Алексид блистает красюю.
Все устремляют свой взор, всюду глядят на него.
Дразнишь ты костью собак, дорогой, и расквашься в этом.
Разве не тем же путем Федра утратили мы?³⁶

Я не стану упоминать больше ни о чем, кроме последней строчки его стихотворения о Дионе Сиракузском³⁷:

О, мой любимый Дион, душу пленивший мою³⁸.
Этим я и закончу.

11. Но не безумец ли я – в суде говорить о подобных вещах? Или скорее безумны вы, клеветники, не побрезговавшие в обвинении даже такими доводами,

как будто поэтические забавы позволяют хоть сколько-нибудь судить о нравах человека? Разве вы не читали, что ответил Катулл своим недоброжелателям:

Сердце чистым должно быть у поэта,
Но стихи его могут быть иными ³⁹.

Божественный Адриан ⁴⁰, почтив стихами могильный холм своего друга поэта Вокона ⁴¹, написал так:

Был ты бесстыден в стихах, скромн душою и чист.

Он никогда не сказал бы этого, если бы некоторое легкомыслие стихов непременно свидетельствовало о распущенности. Да мне помнится, я читал немало стихотворений в том же роде и самого божественного Адриана. Что ж, Эмилиан, скажи, если осмелишься, что творения императора и цензора ⁴², божественного Адриана, оставленные им в памяти потомства, приносят вред. А затем, неужели ты думаешь, что Максим осудит хоть что-нибудь из созданного мною, как ему известно, по примеру Платона? Стихи этого философа, которые я только что цитировал, столь же чисты, сколь откровенны, сочинены столь же целомудренно, сколь просто и безыскусственно само признание. В самом деле, человек испорченный в любом подобном случае будет лицемерить и скрывать, а шутник признается и обо всем будет говорить откровенно. Да, потому что природа наделила невинность речью, а злодеяние – безмолвием.

12. Я не стану останавливаться подробно на том возвышенном и божественном учении Платона, которое, за немногими исключениями, известно любому благочестивому человеку, но невеждам незнакомо. Существуют, учит Платон, две богини Венеры ⁴³; каждая из них владычествует над своим особым родом любви и над различными влюбленными. Одна из них – общедоступна: возбуждаемая любовью, свойственной низменной толпе, она толкает к сладострастию души не только людей, но и скота, и диких зверей, с безмерной и грозной силой сплетая в объятиях покорные тела потрясенных ею живых существ. А другая – небесная Венера, проникнутая благороднейшей любовью; она печется только о людях, да и среди них – о немногих; никакими понуждениями, никакими соблазнами она не толкает своих приверженцев к безнравственности. Ибо любовь ее не похотлива, не разнуздана; напротив, простая и серьезная, она красотой добродетели укрепляет в подчиненных ей влюбленных высокие нравственные качества, а если и наделяет когда-нибудь прекрасные тела очарованием, то вовсе устраняет всякое желание причинить им бесчестье. Ведь только в той мере достойна любви физическая красота, в какой она напоминает божественным душам о другой красоте, истинной и чистой, которую они видели когда-то среди богов ⁴⁴. Вот почему, хоть Афраний ⁴⁵ и оставил следующее весьма изящное изречение: «мудрый будет любить, будут желать остальные», – все же, Эмилиан, если хочешь знать истину и если ты вообще способен это понять, мудрый не столько любит, сколько вспоминает.

13. Так уж ты прости философу Платону его стихи о любви, чтобы мне не пришлось, вопреки совету Неоптолема у Энния, философствовать чересчур многословно ⁴⁶. А если ты не согласен, – что ж, я легко перенесу это, коль скоро за подобного рода стихи меня обвиняют вместе с Платоном.

А тебе, Максим, я безгранично признателен за то, что ты так внимательно слушаешь даже эти приложения к моей защите; но они необходимы, как ответ на обвинение. Поэтому то, что мне остается сказать, прежде чем перейти к самим

обвинениям, выслушай, прошу тебя, столь же благосклонно и внимательно, как слушал до сих пор.

Дело в том, что дальше идет необыкновенно длинная и суровая речь о зеркале⁴⁷, предмете настолько ужасном, что Пудент едва не надорвался, восклицая: «У философа есть зеркало! Философ обладает зеркалом!» Положим, я признаю это – ведь иначе, если я стану это отрицать, ты решишь, что уличил меня в чем-то, – тем не менее вовсе не обязательно делать из этого вывод, будто я обычно прихо-рашиваюсь перед зеркалом. Неужели же, будь я владельцем театрального имущества, ты на этом основании мог бы доказать, что я привык носить трагическую сирму⁴⁸, женское актерское платне⁴⁹, разноцветное тряпье мимов?⁵⁰ Не думаю... Потому что, напротив, многим я не обладаю, как собственностью, но пользуюсь и получаю удовольствие. Если же обладание не служит доказательством использования, а необладание – неиспользования и если моя вина не столько в том, что я обладаю зеркалом, сколько в том, что смотрюсь в него, то мне должны, кроме всего, обязательно сообщить, когда и в чьем присутствии я смотрелся в зеркало, раз уж ты считаешь, по-видимому, большим святотатством, если философ увидит зеркало, чем если непосвященный – убор Цереры⁵¹.

14. А ну-ка, скажи теперь вот что: пусть я даже признаюсь, что действительно смотрелся в зеркало, но что же это за преступление – быть знакомым с собственным изображением и вместо того, чтобы прятать его в каком-либо одном определенном месте, носить его с собою в маленьком зеркале, куда захочешь. Или ты, может быть, не знаешь, что у человека ничто не заслуживает более внимательного изучения, чем собственная внешность? Мне-то во всяком случае известно, что и нам из детей дороже те, которые похожи на нас, и что каждому в награду за заслуги воздвигается от государства его статуя, чтобы сам награжденный видел себя. А иначе зачем нужны статуи и изображения, сделанные различными способами? Возможно ли, чтобы произведения искусства считались достойными похвалы, а тот же самый предмет, если его создала природа, должен быть признан заслуживающим осуждения? А ведь она еще более изумительно, чем искусство, и притом с большей легкостью передает сходство. Действительно, всякое изображение, созданное человеческими руками, требует продолжительного труда, и все же такого сходства, как в зеркале, пожалуй, не будет: глине не хватает упругости, камню – краски, рисунку – объемности, наконец, всем им не хватает движения, которое с особенной убедительностью создает сходство. Напротив, в зеркале виден изумительно переданный образ, одновременно и похожий, и подвижный, и покорно отвечающий на любой жест своего владельца. Этот образ – всегда ровесник тому, кто смотрит, с первых дней детства до глубокой старости – так велика его способность разделять все приходящие с годами изменения, принимать разнообразные позы, подражать то веселому, то печальному выражению лица одного и того же человека. А то, что вылеплено из глины, вы-лито из меди, изваяно из камня, нарисовано горячим воском⁵², написано красками, изображено, наконец, средствами любого человеческого искусства, – все это через небольшой промежуток времени перестает быть похожим и своим неизменным и к тому же неподвижным выражением лица напоминает труп. Вот насколько тщательная полировка зеркала и творческая сила его блеска превосходят изобразительные искусства в передаче сходства.

15. Итак, либо мы должны следовать взглядам одного только спартамца